

Квадрильон

С птичьего полета или из подворотни я глядел – не знаю. Как розу ни назови, она одинаково хорошо пахнет. Но в один прекрасный день я увидел, что люди, мои современники, распадаются совсем не на те группы, про которые учат в школе. Гораздо более важно разделить людей по тому, какому писателю они могли бы присниться во сне: Толстому? Гоголю? Достоевскому?

С классами или профессионально-техническими группами эти привидевшиеся мне слои не совпадают. В некоторых отношениях классы продолжают существовать: у одного инфаркт, у другого геморрой, у одного дача, у другого нет дачи и т.д. Один с удовольствием слушает Чайковского и даже Баха, другой – только Окуджаву. Но все это потеряло для меня значение.

Я не страдаю от голода, от невозможности купить автомобиль – Бог с ним, доеду в метро. Но у меня какая-то другая тоска. Нельзя насытить ее, накормив меня согласно труду и даже по потребностям, сколько влезет. Я знаю, что влезет (из того, что можно взять) немного. А хочется чего-то такого, что не укусишь, как локоть. Что мне до того, как новый класс, описанный Джиласом, по-новому организует производство и распределение барахла, если мне плевать на барахло? На хлеб и кров над головой не плевать. Но ведь это решенная проблема. Правда, не во всех странах. Китайцам сейчас не до того, чтобы кусать локоть. Им бы чего посущественнее. Но наша земля велика и обильна, в том числе техникой и химией; не хватает ей только одного – порядка. В конце концов порядок будет наведен, вопрос «принцип или масло» будет решен в пользу масла и в трактирах – как уже было предугадано в «Сказке о ретивом начальнике» – станут торговать паюсной икрой. Что же будет тогда?

Тогда всем станет ясно, что главный вопрос двадцатого века – вопрос о некушленном локте. Голод, который нас мучит, заставляет просто отдать кесарю кесарево. В форме динария, если кесарь не глуп, или в форме сдачи (бывает и такая плата). А еще лучше – заменить кесаря каким-нибудь счетно-решающим устройством.

Люdiam надо делать другое: копать колодец в ничто, в никуда, к нерожденному, неставшему, необусловленному...

И я, по-видимому, ишу товарищей в этой работе. И с этой новой точки зрения заново пересматриваю общество. Я нахожу что-то общее у всех героев Толстого, у всех героев Гоголя и т.д., и это «что-то» кажется мне важнее, чем разное отношение к средствам производства. Граф Ростов богат, а Тихон Щербатый беден, но оба они принадлежат к одной породе. Что их объединяет? Вот что мне важно!

В «толстовском» слое есть что-то родовое, роевое, архаическое, как поэмы Гомера. Сохраняется след племенной культуры: нераздельность Бога и рода, связанность общей святыней и общей землей (община вместо рода, земля вместо тотема)... «О Русская земле! Уже за шеломянем еси!» Это возрождалось почти без перемен, от замыслов Бояна до черновики «Войны и мира»; но сейчас родовое исчезает. Там, где поля пахут тракторами, толстовский слой выпахан. Осталось несколько стариков: старики Кирсановы, старуха Матрена, немолодой уже Иван Денисович. Они как-то знают тайну (сами не зная – как). Но их самих уже почти нет. Второй слой, гоголевский, я назвал бы псевдонародным. Это мир городничих и держиморд, хлестаковых и осипов, майоров ковалевых и поручиков пироговых, иванов ивановичей и иванов никифоровичей. Все они существа только отчасти живые, как хвост змеи, который продолжает извиваться, отрубленный от тела, как ногти, растущие на трупе.

В сущности, с любым из них может случиться, как с майором Ковалевым: думали все, что человек, а оказалось – нос. Это не люди, а рыла (кувшинные и прочие) или другие органы, еще менее почтенные. Органы рода (роя), отрубленные от него и приросшие к какому-то агрегату (чаще всего – государству). И если род относится к Богу, как дикий и вольный зверь к человеку, то рыла – это приученный к ярму зверь, скот. Журавль в небе рылам ни к чему. Для них найкраща птыця – ковбаса.

Гоголь назвал их мертвыми душами. Мертвыми потому, что органической, живой связи с целым (через род и землю) у них уже нет. Остались только привычки, рефлексы родовой жизни (как рефлекс извиваться у отрубленного хвоста). И эти рефлексы создают видимость существования, даже неплохого, если в положенные часы поступают питательные соки.

Когда мертвая душа голодна, ее охватывает беспокойство, и поведение ее резко меняется. Поэтому мертвые души делятся на два разряда:

**Два сорта крыс на свете:
Те сыты – голодны эти...**
Г.Гейне

О тех и других все сказано у Цветаевой:

**Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных и сытость сытых.**

Дорвавшись до пирога, голодные рыла быстро наедаются и отъедаются. Святое беспокойство исчезает (вместе с памятью о тех, кто вытолкнул их распорядиться пирогом). Происходит простая перемена мест слагаемых, которая, как известно, не меняет суммы. Исключения укладываются в одну десятую (или сотую) и добродетелями своими вызывают несбыточные надежды, необходимые, по-видимому, для нормального хода процесса.

Оторванные от земли и рода люди гоголевских глин, привыкшие за что-то цепляться, схватились за место. Место не только красит их: оно создает их, как Бог создал мир, из ничего. Место определяет их взгляды, вкусы, мораль. Мораль, которую Сквозник-Дмухановский совершенно серьезно преподносит Держиморде: «Не по чину берешь!» Не та номенклатура.

Ибо человек гоголевских глин совершенно полно, искренне, без малейшего надлома отождествляет себя с местом, а место (и доходы от этого места) – с собой. Все они воры, но в то же время патриоты. «Если завтра война», люди гоголевских глин, за немногими презренными исключениями, готовы (не переставая воровать) положить свой живот на алтарь отечества. При этом понятие «отечества» они никогда, даже умирая за него, не способны отделить от понятия «ваше превосходительство».

Все это кажется очень нелогичным. Но рылам плевать на логику. Логика рыло воспринимает как путаницу: логика нарушает, путает привычный уклад жизни рыла. А рыло любит жизнь – во всяком случае, не меньше, чем миргородская свинья любит свою лужу.

Рыла любят пожить, и если не разбираются в цветах жизни, то очень даже обожают ее ягодки, ее, так сказать, клубничку. Рыло, безусловно, предпочтет попользоваться насчет клубнички, чем взорвать триста миллионов людей ради вящей славы Божьей. В двадцатом веке это не так уж плохо. Рыла по-своему совершенны в своей любви к жизнедеятельности – прежде, чем к смыслу ее. Когда война стала грозить атомной бомбой, мертвые души стали сторонниками мира. Сравнительно с Павлом Федоровичем Смердяковым в мертвых душах есть что-то живое и теплое. Само слово «рыло» невольно ассоциируется с теплокровными; оно пахнет жизнью. И

не рыл ли воспел поэт?

**Немного теплого куриного помета
И бесплодного овечьего тепла...
Я все отдам за жизнь. Мне так нужна забота.
И спичка серная меня б согреть могла...
О.Мандельштам**

Третий слой в девятнадцатом веке никем не был описан. Его только называли: Чернышевский – «новыми людьми», Митенька Карамазов – Бернарами. Это не мертвые души, скорее неродившиеся, вылупившиеся из книги, как гомункулус из колбы. Иногда, ценой огромных мучений, они способны ожить. По отношению к народу в старом смысле этого слова гомункулусы – слой народолюбивый и в то же время антинародный. Почему – ясно будет из дальнейшего.

Гомункулусы, так же как мертвые души, – функционеры. Можно рассматривать их, как и рыл, в качестве продуктов распада первоначального рода (роя), обособления отдельных его органов и прилипания к новым агрегатам. В гомункулусах обособился мозг; они созданы из лобных долей родового мозга, иссеченных скальпелем анатома, и защищены от жизни стеклянным колпачком понятий. Тогда как рыла (судя по частым воспоминаниям, мелькающим в их языке) возникли путем естественной эволюции из гениталий или ануса; понятия, идеи, принципы их не стесняют.

Говоря точнее, рыло воспринимает действительность спинным мозгом; у него особый ум, аппаратный (образец такого ума обрисован Толстым в князе Василии Курагине); он почти инстинктивно делает все, чтобы получить место, удержать его, передвинуться на лучшее и т.п. Напротив, гомункулус обладает в своих больших полушариях исправно действующим счетно-решающим устройством, и деятельность этого устройства иногда становится для него самоцелью, до полного забвения практических выгод.

При распаде рода будущие рыла прилепились к тому, что непосредственно дает хлеб, – к аппарату царского дома, купеческого дома, публичного дома и т.д., смотря по тому, что доступнее и выгоднее. Гомункулусы – в известном смысле идеалисты. Они прилепились к науке; то, что в них функционирует, – интеллект. И хотя интеллект – только функция, а не целостность человеческого бытия, но функция превосходная, несравнимая с деятельностью желудка и зубов. Она не может быть стопроцентной работой рычага в агрегате; часть работы интеллекта уходит с точки зрения агрегата вхолостую, на жизнь духа. Вслед за Невтонами земля российская начинает рождать Платонов. Или сами Невтоны начинают вести себя, как Платоны:

**Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне – дна...
М.Ломоносов**

Гомункулусы – прирожденные враги и соперники рыл. Что рылу здорово, то гомункулусу смерть, и наоборот. Гомункулус открывает форточку (потому что он знает, что свежий воздух полезен), рыло закрывает: боится сквозняков. Гомункулус не может без логики – рыло ее не выносит. Гомункулус любит инструментальную музыку, рыло – хор Пятницкого, парады и равнения. Наконец, задумавшись и перестав добросовестно функционировать, интеллектуал превращается в Ивана Карамазова, рыло – в Смердякова.

Некоторые считают, что механизм современной цивилизации, слишком сложный для понимания рыл, требует замены их интеллектуалами. Власть гомункулусов уже получила название (технократия). Однако в наличии ее нигде нет.

Чисто теоретически рассуждения интеллектуалов кажутся безупречными. Но практически рыла всегда берут верх. У них великолепно развито чувство коллективного самосохранения, инстинкты стадности, партийности. Рыла могут драться между собой – и с гадами, о которых речь будет ниже, но запах интеллектуала сразу вносит единство в их ряды. Чтобы посрамить рыл, нужно разрушить инстинкты, поголовно испортить человечество средним и высшим образованием. Это – возможный, но (как мы увидим дальше) очень опасный путь.

Бернары, как я уже говорил, не были хорошенько описаны в нашей классической литературе, но сейчас их развелось так много, я столько встречал (а с некоторыми и дружил), что попытаюсь самостоятельно разработать тему.

Рост популяции бернардов связан с развитием точных наук; но бернар – вовсе не обязательно ученый. Бренгард Фильберт (написавший книгу «Христианское пророчество и атомная физика»), вопреки своему имени и профессии, совсем не бернар. Вообще современные ученые по большей части только одним боком бернары. Бернар – тип ученого прошлого века. Современные – какие-то метафизики: Шредингер пропагандирует веданту, Флоренский читал лекции о диэлектриках в рясе и клобуке...

Раскалываясь на своих вершинах, тип бернара широко входит в быт, становится популярным. Бернары умножились среди инженеров, учителей, встречаются они и между бухгалтеров, создающих новые формы учета и отчетности. Наконец, в эпохи революций некоторые бернары (начиная с Карно) становятся теоретиками и практиками политического действия. В этой функции они участвуют в отсечении голов других бернардов, равнодушных к политике (случай с Лавуазье). Марксизм привлек в ряды рабочего движения большое число бернардов (и ракитиных, о которых речь пойдет ниже). Они внесли свою лепту в историю девятисотых, десятых и двадцатых годов.

Бернар в спокойном, аполитическом состоянии и бернар в возбужденном, политическом состоянии одинаково убежден в разрешимости всех вопросов научными методами. Но бернар нормальный режет лягушек, а бернар взбаламученный – людей. Поэтому их деятельность невозможно одинаково оценить. Нормальный бернар занят решением задач, которые могут быть строго сформулированы. О явлениях, не поддающихся строгому описанию (например, о счастье личности или общества), он позволяет себе выразить твердую уверенность, что когда-нибудь и эти явления будут описаны языком математики, и тогда счетно-решающие устройства будут шелкать вопрос «быть или не быть?» как орешек. Эти разговоры, однако, не выходят за рамки курительной комнаты Ленинской библиотеки или самое большее – страниц «Литературной газеты».

Напротив, бернар, сорвавшийся со своей орбиты, начинает решать вопрос «быть или не быть?», ударивший ему в сердце, без всякого промедления; и вместо науки получается научная идеология, вместо эксперимента – красногвардейская атака на капитал, ликвидация кулачества, большой скачок...

К сожалению, чрезвычайные обстоятельства и вызванные ими страсти почти совершенно лишают бернара, втянутого в политику, способности к трезвой и честной научной самооценке. Все возражения против научной идеологии расцениваются по принципу «кому на пользу», и наука по всем правилам диалектики превращается в собственную противоположность. Чем больше эта научная догма воплощается в жизнь, тем глубже рана, нанесенная жизни, безысходнее тупик, недостижимее выход из него. Словно проклятие лежит на всем, что начал великий преобразователь, гений человечества, Фауст-Бернар. Сами добродетели его становятся скрытыми пороками. Он неподкупен, настойчив, деятелен, справедлив, умен, он плавает в волнах революции, как рыба в воде; он отзывчив, чуток, добр (да, добр, несмотря на террор), он любит народ. Все равно. Тем прочнее традиция, которую он создал, и тем она страшнее.

Фауст-Бернар, вождь трудящегося человечества, обычно обладает прожекторным типом ума,

со страшной силой нацеленного в одну точку и в то же время способного быстро поворачиваться, освещая предмет с разных сторон. Вся его огромная энергия сосредоточена в одном круге вопросов, так или иначе связанных с одной технической задачей: захватом власти. Здесь он великолепен. Но победа – катастрофа для бернарна. Захватив власть, он по характеру своему не способен остановиться, предоставить жизни, освобожденной от препятствий, течь своим путем. И начинает планировать, экспериментировать, калечить...

И все же, несмотря на вред, который бернарны иногда приносят, это, несомненно, самая здоровая часть современного общества. К ним не может подступиться тоска – мать всех пороков и идеалистических вывертов. У них есть здоровое занятие: решать интеллектуальные задачи. Этот кретинизм интеллектуальной жизни сравним с кретинизмом жизни деревенской, так же как и поэзия научных открытий – с поэзией сельского труда.

Бернар весь ушел в функционирование своего интеллекта. То, что вне интеллекта (с освещенного интеллектом подопытного угла действительности), для него только место отдыха или пустырь.

Бернар чувствует поэзию, музыку, живопись. Он любит Баха (а не Соловьева-Седого: вкусы интеллектуалов резко и даже полемически противопоставлены вкусам рыл). Но попробуйте сказать, что музыка Баха – более глубокое познание Целого, чем квантовая или еще какая-нибудь теория; физик только презрительно улыбнется. Так улыбался Иван, слушая Алешу. Но у Ивана бывали минуты, когда он хочет понять, что не укладывается в эвклидовский разум. Иван тоскует, Иван знает, что ему чего-то недостает. Бернар в этом отношении – недоразвитый Иван. Недоразвитый в целом из-за слишком сильного развития интеллектуальной машины. Представим себе Ивана, который бы написал не маленькую статейку о монастырском суде, а пишет один трактат за другим или режет лягушек и т.д. Беседовать с чертом у него бы просто не было времени. Инерция размахавшегося интеллекта так велика, что самые жгучие моральные вопросы не в силах из нее вырвать. Энрико Ферми закончил разговор об атомной бомбе словами: «В конце концов все это – превосходная физика!» Тут есть надежда, что развитие науки в конце концов ведет к добру. Так сказать, «что хорошо для «Дженерал моторс» – хорошо и для американского народа». Но больше всего профессионального кретинизма. Нормальные бернарны любят свое дело так же, как герой Глеба Успенского – поле, лошадь, хитроумную несущку... Это честные пахари научно-технической цивилизации. В интеллектуальном блеске они находят своеобразную поэзию и музыку, и она кажется им высшей музыкой (как Некрасовскому помещику – лай собак: «Что твой Россини! Что твой Бетховен!»). Кто бы ни правил столицей, крестьянин не может оставить неубранное поле, бернар – незаконченный опыт: «В конце концов все это – превосходная физика».

Бернары гордятся тем, что увеличивают власть человека над природой. Но власть – не безусловное благо. Она оправданна как альтернатива анархии, как меньшее зло. Это меньшее зло легко может стать большим, если люди перестали понимать, что имеют дело со злом, а не с добром.

Власть над природой хороша, насколько освобождает человека от страха голода и болезней. Но власть эта сама по себе – болезнь похуже чумы. Она отчуждает человека от всеобщего ритма и строя, от самого себя. Вся человеческая культура – только конденсация ритмов, разлитых в природе. Стремительное развитие власти над природой прерывает пуповину, питающую душу зародыша. Агрегаты цивилизации, растущие, как опухоль, разваливают целое культуры. Ученые решили вопросы, которые тысячелетия ставили в тупик пахарей и пастухов. Но решение создало новую ситуацию, с которой наука не в силах справиться. И если завтрашний день принадлежит ученым, то послезавтрашний – кому-то другому. Тому, кто освободит нас от апокалиптического страха, созданного самой властью над природой. И не только от страха атомной, бактериологической, черт знает какой войны; еще сильнее давит страх пустоты...

Слой гомункулусов имеет не только благородную разновидность (бернарв), но и вульгарную (ракитиных). Скажем несколько слов о ней. Ракитин, как и бернар, верит в науку; но, в отличие от бернара, он и себя не забывает. Для бернара наука сама по себе – величайшая ценность и радость. Для ракитина она скорее средство – средство добиться успеха. Ракитин относится к бернару как купец к мужику. Это не специалист-идеалист, а специалист-рвач. Но как в купце есть что-то здоровое, мужицкое, так и в ракитине есть что-то бернарское, положительное. Ракитин до крайности легко приспосабливается к обстоятельствам; в обществе гадов и рыл он ведет себя как гад и рыло, но особенного удовольствия это ему не доставляет; он человек порядочный и предпочитает более мягкие формы борьбы за существование.

Получив телевизор и дачу, ракитин благодушествует и ведет жизнь, мало чем отличающуюся от жизни Ивана Ивановича (разве книжки читает поумнее). Между ними может возникнуть спор из-за разрушенного забора, но в общем ракитин (как и Иван Иванович) – сторонник мира. Ракитин не чужд поэзии и иногда пописывает стихи:

**Эта ножка, эта ножка
Разболелася немножко...**

Технически его стихи бывают довольно совершенными (техника – сильная сторона ракитина); они вполне современны по форме и по идее – см. “Сорок отступлений из поэмы «Треугольная груша»”.

В общем, в Ракитине обнаруживается нечто, связывающее головоногих (гомункулусов) с рылами. Помню, я был на творческом вечере одного юного поэта из рода ракитиных. Он удивительно напоминал резвого нахального поросенка, и даже лавровый венок, которым девушки, ликуя, порывались венчать его, очень подошел бы к делу. Не хватало только хрена. Впрочем, через некоторое время рыла и гады сожрали его без всякого хрена, в собственном соку.

Четвертый слой – это неприкаянные, ни к чему не способные прилепиться (ни к государству, ни к науке). Они могут найти себя только в соприкосновении мирам иным, в Боге или в дьяволе.

Достоевский пытался спасти безотцовщину, затолкав ее назад – в род, в народ. Но даже сто лет назад это было утопией. А сейчас просто некуда заталкивать. За словом «народ» стоит только желание Ивана Никифоровича, чтобы его считали Тарасом Бульбой; желание само по себе очень любопытное и может стать предметом специального исследования, но принимать его за реальность невозможно. Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая. Окунать в народ – значит сейчас окунать в пустоту. Это – испытание, которое может выдержать разве святой, а не спасение для слабого. Первый шаг, который вынужден сделать слабый, – замкнуться в себе, обособиться и спасти себя от растворения во всеобщей жиже. Второй – найти друзей, схватиться за них и замкнуться в искусственной, обособившейся от болота среде, в своего рода оранжерее, защищенной хрупкой стенкой гордыни. Здесь, где никто не наступает на ноги, можно дать кристалликам человека возможность немного окрепнуть и развиваться. Третий шаг – выйти на несколько шагов из оранжереи... И только двадцать третий – вернуться в массу. Вернуться как власть имущие, вернуться как боги, знающие добро и зло, способные вдохнуть душу в вязкую глину.

Народа нет. Есть отдельные люди, но народа нет. Народ должен быть воссоздан. И зерно народа – это кучка, которая имеет мужество не подчиняться массе, кучка, которая ищет.

Безотцовщина более или менее образованна, просвещенна, стоит на почве разума. Но разум ее

бьется на пороге жизни, не в силах войти в нее. И это мучение не каждому по силам. Многим не по силам, и они начинают думать: а может, жизни вовсе нет? Может, жизнь выдумана и есть только смерть?

Очень важно понять, что Смердяков – не обязательно повар. Он может быть юристом, как горьковский Самгин, академиком, как Лысенко, художником, как Серов, поэтом, как Грибачев. Совершенно неважно, к какой профессионально-технической группе случай его приткнул. Смердяков – специалист и с презрением относится к Карамазовым, у которых нет специальных знаний, тогда как он всегда может открыть ресторан в Питере. Но это одна оболочка, как фрак и орден Льва и Солнца у ночного гостя Ивана Карамазова или должность архивариуса у персонажа из сказок Гофмана. Под форменным пиджачком Павла Федоровича поблескивает зеленовато-серая чешуя. И когда он сидит в президиуме, красная бархатная скатерть чуть заметно колыхнется: это, вздрагивая от аплодисментов, сладострастно изгибается драконий хвост.

Смердяков может окончить сельскохозяйственный политехникум и четыре курса заочной сельскохозяйственной академии, а потом все бросить и приняться за романы-доносы (Кочетов). Или двигать вперед мичуринскую биологию и втайне писать те же доносы.

Что бы ни делал смердяков для пользы трудящихся, это один обман. Настоящее дело его – интрига, донос, гадость. Порядочные люди гадят ближнему по необходимости, без удовольствия. Смердяков от гадостей пьянеет, как кот от валерьяновых капель. Гадить, уничтожать, отравлять ядом – пафос и смысл жизни Павла Федоровича. Убить отца, истребить все, что можно, а потом, в заключение, истребить самого себя... Вот все, на что он способен. Как Гитлер, как Геббельс.

Ни в коем случае нельзя путать смердякова со специалистами в точном смысле этого слова, с добросовестными функционерами науки и техники. Смердяков – недоносок, выкидыш. Выкидыш интеллекта, науки, просвещения, болезненное отклонение от нормы. Он, как раковая клетка, сам по себе жить не может и существует только за счет других, разрушая среду, которая питает его.

Этот тип одновременно наглый и неуверенный в себе. Наглость сближает его с некоторыми гоголевскими типами – Ноздревым, Пироговым. Но Пирогов, как и другие мертвые души, превосходно обходится без души и поражает могучей жизненностью. Он не знает сомнений в основах своего бытия. Отсюда его неколебимость в бедствиях. Будучи высечен, он тут же утешается, съев слоеный пирожок.

Пирогов – рыло, персонаж скотного двора. Он пахивает навозом, а не бензином. С конвейера его не выпустишь. И даже из десятилетки, как она ни плоха. Как правило, за спиной поручика только ЦППШ (церковно-приходская школа).

Поэтому образование приводит к опасному упадку рыльности. Опасному потому, что связано с распространением гадства.

И рыла, и гады – недоучки. Те самые, о которых писал Монтень: простые крестьяне – прекрасные люди, и прекрасные люди – философы; но все зло от полуобразованности... Или, говоря языком монахов, на полпути сторожит дьявол.

Рыла стоят в самом начале пути от крестьянина к философу, от зверя к Богу. В них еще много скотского добродушия. Гады – как раз на полпути. Они прогрессивнее и потому страшнее.

Все фашистские режимы в слаборазвитых странах напоминают оперетту. За исключением, может быть, Испании, но Испания – особый случай. Даже воскресное развлечение не обходится

здесь без убийства – по крайней мере, быка и двух-трех лошадей. Поэтому число убитых в Испании ничего не доказывает. И я отказываю генералиссимусу Франко в титуле настоящего злодея. Он, как один из Топтыгиных (второй, кажется), чирика съел. Потом Топтыгин истребил полтора миллиона душ, и все же он шут. Не будь на свете Гитлера, ничего бы у него, кроме буффонады, не вышло.

Для настоящего, всемирно-исторического злодейства нужна чистоплотность и методичность, воспитанная в массах трудящихся всеобщим образованием, лучше всего – неполным средним (можно и полным, но это опасно: возникает интеллигенция). Итальянский фашизм отдает скорее касторкой, чем кровью; только аккуратные, поголовно грамотные немцы могли построить Майданек.

Поэтому я с тревогой смотрю на распространение цивилизации. Не потому, что не доверяю ее возможностям. Они очень велики. Человечество может подняться на ступень, с которой нынешний век покажется чуть ли не каменным. И не только с точки зрения техники (в это теперь все верят), но и духовно человечество (если выживет) будет оглядываться на нас с почти недостижимой высоты. Но пока что мы стоим на полдороге. В том самом месте, где сторожит дьявол.

Пирогов, Ноздрев и всякое рыло живет не думая, живет рефлекторно; его невозможно судить (разве только высечь, если свинство превзойдет меру). Смердяков думает, но не живет; видимость жизни, которой он может обмануть, – призрачное существование вампира. Кровь, которая переливается в его жилах и иногда окрашивает щеки, – чужая кровь, выпитая по ночам на допросах. Он настолько пуст, что Хайдеггер спутал его с подлежащим неопределенно-личного предложения. Но это подлежащее вполне ответственно, вполне подлежит суду. Он ведает, что творит. Он гадит не стихийно, по природе, а сознательно, идейно, принципиально (природы, почвы у смердякова вообще нет). Гадит, чтобы почувствовать вкус жизни (чужой жизни), чтобы утвердить, упрочить себя в бытии. Это не рыло, а гад.

Пирогов не тщеславен. Если судьба подымет его наверх – хорошо; если забросит заведующим складом – тоже неплохо. Перефразируя Веспасиана, пирогов мог бы сказать: место не пахнет. Лишь бы оно кормило. Всякого рода гамлетовские сомнения ему совершенно чужды. Напротив, смердяков – гамлет лакейский. Боров – скорее его эстетический и моральный идеал, идеальный расовый (классовый) тип, – увы! – недостижимый.

Пирогов, выйдя в отставку, становится добродушнейшим Иваном Никифоровичем. Смердяков в отставке немислим. Его гложет жажда деятельности. Он пуст, как шелуха, и томительно чувствует свою пустоту. Ему кажется, что он по-пироговски наполнится бытием, заняв место. Но место не способно наполнить бездонную пустоту дьявола и кажется поэтому незначительным. Нужно непременно первое место: директора, генерала, фюрера и рейхсканцлера. Но и это место не успокаивает его.

Он продолжает действовать, метаться, интриговать. Всякое ведомство, всякое царство слишком мало для него. Кажется, что ему нужен весь мир. Но если бы все планеты, все звезды, все галактики подчинились ему, он еще раз почувствует свою пустоту и тогда наконец поймет, что ему нужно только одно: удушиться.

Жить для смердякова – значить руководить. Руководить – в смысле запрещать, указывать, пресекать, карать. В конечном счете – разрушать. И если создавать, то только средства полного всеобщего разрушения. Война для него – благо (как для Гитлера, как для нашего современника Мао). Это в полном смысле слова ретивый начальник (по Щедрину).

Любознательные бернарды создали средства, достаточные, чтобы взорвать земной шар. А смердяковы сладострастно смотрят на кнопку, которую стоит только нажать... Может быть, после этого останется 300 млн. дрожащих подданных, и с ними он создаст наконец образцовую, примерную каторгу. А может быть, без них еще лучше. Ах, грезится иногда по

ночам: если бы у человечества была одна голова, чтобы отрубить ее одним взмахом бистурия!

Эта безоглядность или, лучше сказать, высокая идейность и принципиальность Павла Федоровича вызывает иногда конфликты между гадами и рылами. Вообще говоря, рыла (там, где они многочисленны, т.е. в среднеразвитых странах) играют роль вспомогательного состава в воинстве сатаны (в странах совершенно цивилизованных, как, например, Германия, рыл, по видимому, отчасти заменяют вульгарные штампы интеллектуалов, ракитины и их однокорытники). Но иногда рыла, призванные из местечек и деревень, чтобы подвывать и улюлюкать в большой травле, изменяют своим обязанностям, особенно если Павел Федорович заглядится или, чего доброго, помрет. Тогда рыла, начавшие со скромных и совершенно не номенклатурных должностей загонщиков и выжлятников, могут очень даже себя показать.

Рыла хотят жить; уничтожить все подряд им нет расчета; нажравшись сладкого человеческого мяса, они укладываются в логовище и, мирно урча, переваривают пищу, пока подрастает следующая порция, резвясь и тучнея на зеленых лугах. Гадов это раздражает, их бесит вид откормленных овнов; они требуют продолжать кампанию, им лишь бы горло перегрызть, глотнуть крови – и бежать за следующей жертвой, оставляя труп гнить. На завтрашний день им плевать.

Так возникают серьезные конфликты в рамках несокрушимого единства рыл и гадов. Следует, однако, помнить, что непримиримых антагонистических противоречий между рылами и гадами нет. Споры между ними следует скорее рассматривать в духе эстетики 1952 года – как конфликт хорошего с отличным. Когда побеждают рыла, полугады и четвертьгады маскируют свою неполноценность, подражая лучшим образцам рыльности, преподанным учителями и наставниками. Напротив, при покойном Павле Федоровиче рыла отращивали усики и шевелили тазом, как будто у них в самом деле топорщился драконий хвост...

Мысль о кнопке на столе Павла Федоровича лишает сна миллионы людей: но смерть в конце концов не самое страшное. Страшнее была бы жизнь, устроенная по-смердяковски: предбанник с телевизором в углу, и так целая вечность. И вот здесь я могу наконец успокоить читателя: это немыслимо!

Смердяков ничего не создает. Он как Тень Ученого из пьесы Шварца. Если отрубить Ученому голову, упадет и ее голова. Или как Цахес: если не будет Студента, не будет и стихов, которые крошка может себе приписать. Смердяков, Тень, Цахес могут доводить до безумия Ивана, Ученого, Студента. Но без них смердяков сразу же исчезнет, как тень без человека. Смердяков – наша тень, без нас он немыслим.

Есть чувство более сильное, чем чувство самосохранения. Пока оно молчит – говорит Смердяков. Но когда оно заговорит, смердяковщина исчезает, тает, как тень, как дым перед лицом огня. Стопроцентных смердяковых не так много. Они утонут, как Цахес, в своих ночных горшках. Страшны не они. Страшно то, что делает Павла Федоровича арбитром, властью: страшна смердяковщина во всех нас, смердяковское отношение к подвигу, к мученичеству (вспомним рассуждения сына Смердящей о русском солдате, попавшем в плен к хивинцам); смердяковская улыбочка над Дон Кихотом... лакейская улыбочка... Если б ее выдавили, как Чехов по капле выдавливал из себя раба!

Рядом со Смердяковым, как известно, стоит Иван Карамазов. Павел Федорович ему многим обязан и в хорошую минуту Тайна в том (Иван об этом не догадывается), что осколки, не осознавшие себя как осколки, фрагменты Целого, воображающие себя элементарными частицами бытия, невозможно сложить в замкнутую, устойчивую фигуру.

В царстве осколков нет ничего безусловного, ничего до конца совершенного. В царстве

осколков все пытается быть само по себе, а на самом деле оказывается другим. Все перемены с осколками – пустые перемены. Они не имеют ничего общего с гармонией, свободой, с подлинным бытием. Гармония и Свобода не могут быть атрибутами осколка. Это атрибуты Целого. Чтобы быть свободным, надо быть в Целом, быть Целым.

Поэтому все попытки достигнуть гармонического состояния общества, оставляя в стороне человеческую личность, душу, бесконечность души, ведут только к разочарованию, раздражению, злобным попыткам подчинить разуму непокорную природу и в конце концов к такой вакханалии насилия, в которой тонут последние остатки разума; воцаряются дичь, бред, сравнительно с которыми старое, неразумное состояние общества кажется царством Разума, Добра и Красоты.

Такая гармония не стоит не только слез ребенка – она не стоит таракана. Это ловушка, в которую несколько раз попадал человеческий рассудок. Ловушка Утопии.

Но ведь не об этой «гармонии», не о хрустальном дворце идет речь! И конечно, не о переносе хрустального дворца в потустороннее, с теми же земными представлениями о справедливости, с той же костоломкой в аду (только вечной) и вечным торжественно-дружеским приемом у самого Господа Бога в раю.

А о чем же? Какая еще гармония может быть? Этого именно Иван не может понять, и ломает себе голову, и сходит с ума, и в бреду своем плодит новых и новых гадов. Мерзость их дыхания, размноженная современными средствами телекоммуникации (печатью, радио, телевидением, кино), переполняет землю.

P.S. Метод, примененный в этом опыте, не нов. Непосредственным предшественником моим оказался Н.А.Бердяев. Прочитав в 1978 г «Духов русской революции», я был поражен совпадениями. Интереснее, впрочем, различия. В 1963 г. я не увидел Хлестаковых. В 1918 г Бердяев не увидел ракитиных и бернардов.